# Письмо в бутылке

***То, куда вытянут нос и рот,
прочий куда обращен фасад,
то, вероятно, и есть ‘вперед’;
все остальное считай ‘назад’.
Но так как нос корабля на Норд,
а взор пассажир устремил на Вест
(иными словами, глядит за борт),
сложность растет с переменой мест.
И так как часто плывут корабли,
на всех парусах по волнам спеша,
физики ‘вектор’ изобрели.
Нечто бесплотное, как душа.
Левиафаны лупят хвостом
по волнам от радости кверху дном,
когда указует на них перстом
вектор призрачным гарпуном.
Сирены не прячут прекрасных лиц
и громко со скал поют в унисон,
когда весельчак-капитан Улисс
чистит на палубе смит-вессон.
С другой стороны, пусть поймет народ,
ищущий грань меж Добром и Злом:
в какой-то мере бредет вперед
тот, кто с виду кружит в былом.
А тот, кто — по Цельсию — спит в тепле,
под балдахином и в полный рост,
с цезием в пятке (верней, в сопле),
пинает носком покрывало звезд.
А тот певец, что напрасно лил
на волны звуки, квасцы и йод,
спеша за метафорой в древний мир,
должно быть, о чем-то другом поет.
Двуликий Янус, твое лицо —
к жизни одно и к смерти одно —
мир превращают почти в кольцо,
даже если пойти на дно.
А если поплыть под прямым углом,
то, в Швецию словно, упрешься в страсть.
А если кружить меж Добром и Злом,
Левиафан разевает пасть.
И я, как витязь, который горд
коня сохранить, а живот сложить,
честно поплыл и держал Норд-Норд.
Куда — предстоит вам самим решить.
Прошу лишь учесть, что хоть рвется дух
вверх, паруса не заменят крыл,
хоть сходство в стремлениях этих двух
еще до Ньютона Шекспир открыл.
Я честно плыл, но попался риф,
и он насквозь пропорол мне бок.
Я пальцы смочил, но Финский залив
тут оказался весьма глубок.
Ладонь козырьком и грусть затая,
обозревал я морской пейзаж.
Но, несмотря на бинокли, я
не смог разглядеть пионерский пляж.
Снег повалил тут, и я застрял,
задрав к небосводу свой левый борт,
как некогда сам ‘Генерал-Адмирал
Апраксин’. Но чем-то иным затерт.
Айсберги тихо плывут на Юг.
Гюйс шелестит на ветру.
Мыши беззвучно бегут на ют,
и, булькая, море бежит в дыру.
Сердце стучит, и летит снежок,
скрывая от глаз ‘воронье гнездо’,
забив до весны почтовый рожок;
и вместо ‘ля’ раздается ‘до’.
Тает корма, а сугробы растут.
Люстры льда надо мной висят.
Обзор велик, и градусов тут
больше, чем триста и шестьдесят.
Звезды горят и сверкает лед.
Тихо звенит мой челн.
Ундина под бушпритом слезы льет
из глаз, насчитавших мильарды волн.
На азбуке Морзе своих зубов
я к Вам взываю, профессор Попов,
и к Вам, господин Маркони, в КОМ [1],
я свой привет пошлю с голубком.
Как пиво, пространство бежит по усам.
Пускай дирижабли и Линдберг сам
не покидают большой ангар.
Хватит и крыльев, поющих: ‘карр’.
Я счет потерял облакам и дням.
Хрусталик не верит теперь огням.
И разум шепнет, как верный страж,
когда я вижу огонь: мираж.
Прощай, Эдисон, повредивший ночь.
Прощай, Фарадей, Архимед и проч.
Я тьму вытесняю посредством свеч,
как море — трехмачтовик, давший течь.
(И может сегодня в последний раз
мы, конюх, сражаемся в преферанс,
и ‘пулю’ чертишь пером ты вновь,
которым я некогда пел любовь.)
Пропорот бок, и залив глубок.
Никто не виновен: наш лоцман — Бог.
И только Ему мы должны внимать.
А воля к спасенью — смиренья мать.
И вот я грустный вчиняю иск
тебе, преподобный отец Франциск:
узрев пробоину, как автомат,
я тотчас решил, что сие — стигмат.
Но, можно сказать, начался прилив,
и тут раскрылся простой секрет:
то, что годится в краю олив,
на севере дальнем приносит вред.
И, право, не нужен сверхзоркий Цейс.
Я вижу, что я проиграл процесс
гораздо стремительней, чем иной
язычник, желающий спать с женой.
Вода, как я вижу, уже по грудь,
и я отплываю в последний путь.
И, так как не станет никто провожать,
хотелось бы несколько рук пожать.
Доктор Фрейд, покидаю Вас,
сумевшего (где-то вне нас) на глаз
над речкой души перекинуть мост,
соединяющий пах и мозг.
Адье, утверждавший ‘терять, ей-ей,
нечего, кроме своих цепей’.
И совести, если на то пошло.
Правда твоя, старина Шарло.
Еще обладатель брады густой,
Ваше сиятельство, граф Толстой,
любитель касаться ногой травы,
я Вас покидаю. И Вы правы.
Прощайте, Альберт Эйнштейн, мудрец.
Ваш не успев осмотреть дворец,
в Вашей державе слагаю скит:
Время — волна, а Пространство — кит.
Природа сама и ее щедрот
сыщики: Ньютон, Бойль-Мариотт,
Кеплер, поднявший свой лик к Луне, —
вы, полагаю, приснились мне.
Мендель в банке и Дарвин с костьми
макак, отношенья мои с людьми,
их возраженья, зима, весна,
август и май — персонажи сна.
Снился мне холод и снился жар;
снился квадрат мне и снился шар,
щебет синицы и шелест трав.
И снилось мне часто, что я неправ.
Снился мне мрак и на волнах блик.
Собственный часто мне снился лик.
Снилось мне также, что лошадь ржет.
Но смерть — это зеркало, что не лжет.
Когда я умру, а сказать точней,
когда я проснусь, и когда скучней
на первых порах мне придется там,
должно быть, виденья, я вам воздам.
А впрочем, даже такая речь
признак того, что хочу сберечь
тени того, что еще люблю.
Признак того, что я крепко сплю.
Итак, возвращая язык и взгляд
к барашкам на семьдесят строк назад,
чтоб как-то их с пастухом связать;
вернувшись на палубу, так сказать,
я вижу, собственно, только нос
и снег, что Ундине уста занес
и снежный бюст превратил в сугроб.
Сечас мы исчезнем, плавучий гроб.
И вот, отправляясь навек на дно,
хотелось бы твердо мне знать одно,
поскольку я не вернусь домой:
куда указуешь ты, вектор мой?
Хотелось бы думать, что пел не зря.
Что то, что я некогда звал ‘заря’,
будет и дальше всходить, как встарь,
толкая худеющий календарь.
Хотелось бы думать, верней — мечтать,
что кто-то будет шары катать,
а некто — из кубиков строить дом.
Хотелось бы верить (увы, с трудом),
что жизнь водолаза пошлет за мной,
дав направление: ‘мир иной’.
Постыдная слабость! Момент, друзья.
По крайней мере, надеюсь я,
что сохранит милосердный Бог
того, чего я лицезреть не смог.
Америку, Альпы, Кавказ и Крым,
долину Евфрата и вечный Рим,
Торжок, где почистить сапог — обряд,
и добродетелей некий ряд,
которых тут не рискну назвать,
чтоб заодно могли уповать
на Бережливость, на Долг и Честь
(хоть я не уверен в том, что вы — есть).
Надеюсь я также, что некий швед
спасет от атомной бомбы свет,
что желтые тигры убавят тон,
что яблоко Евы иной Ньютон
сжует, а семечки бросит в лес,
что ‘блюдца’ украсят сервиз небес.
Прощайте! пусть ветер свистит, свистит.
Больше ему уж не зваться злым.
Пускай Грядущее здесь грустит:
как ни вертись, но не стать Былым.
Пусть Кант-постовой засвистит в свисток,
а в Веймаре пусть Фейербах ревет:
‘Прекрасных видений живой поток
щелчок выключателя не прервет!’
Возможно, так. А возможно, нет.
Во всяком случае (ветер стих),
как только Старушка погасит свет,
я знаю точно: не станет их.
Пусть жизнь продолжает, узрев в дупле
улитку, в охотничий рог трубить,
когда на скромном своем корабле
я, как сказал перед смертью Рабле,
отправлюсь в ‘Великое Может Быть’…
(размыто)
Мадам, Вы простите бессвязность, пыл.
Ведь Вам-то известно, куда я плыл
и то, почему я, презрев компас,
курс проверял, так сказать, на глаз.
Я вижу бульвар, где полно собак.
Скамейка стоит, и цветет табак.
Я вижу фиалок пучок в петле
и Вас я вижу, мадам, в букле.
Печальный взор опуская вниз,
я вижу светлого джерси мыс,
две легкие шлюпки, их четкий рант,
на каждой, как маленький кливер, бант.
А выше — о, звуки небесных арф! —
подобный голландке, в полоску шарф
и волны, которых нельзя сомкнуть,
в которых бы я предпочел тонуть.
И брови, как крылья прелестных птиц,
над взором, которому нет границ
в мире огромном ни вспять, ни впредь, —
который Незримому дал Смотреть.
Мадам, если впрямь существует связь
меж сердцем и взглядом (лучась, дробясь
и преломляясь), заметить рад:
у Вас она лишена преград.
Мадам, это больше, чем свет небес.
Поскольку на полюсе можно без
звезд копошиться хоть сотню лет.
Поскольку жизнь — лишь вбирает свет.
Но Ваше сердце, точнее — взор
(как тонкие пальцы — предмет, узор)
рождает чувства, и форму им
светом оно придает своим.
(размыто)
И в этой бутылке у Ваших стоп,
свидетельстве скромном, что я утоп,
как астронавт посреди планет,
Вы сыщете то, чего больше нет.
Вас в горлышке встретит, должно быть, грусть.
До марки добравшись — и наизусть
запомнив — придете в себя вполне.
И встреча со мною Вас ждет на дне!
Мадам! Чтоб рассеять случайный сплин,
Bottoms up! — как сказал бы Флинн.
Тем паче, что мир, как в ‘Пиратах’, здесь
в зеленом стекле отразился весь.
(размыто)
Так вспоминайте ж меня, мадам,
при виде волн, стремящихся к Вам,
при виде стремящихся к Вам валов
в беге строк, в гуденьи слов…
Море, мадам, это чья-то речь…
Я слух и желудок не смог сберечь:
я нахлебался и речью полн…
(размыто)
Меня вспоминайте при виде волн!
(размыто)
…что парная рифма нам даст, то ей
мы возвращаем под видом дней.
Как, скажем, данные дни в снегу…
Лишь смерть оставляет, мадам, в долгу.
(размыто)
Что говорит с печалью в лице
кошке, усевшейся на крыльце,
снегирь, не спуская с последней глаз?
‘Я думал, ты не придешь. Alas!’
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
[1] — КОМ — Компания объединенная Маркони (прим. автора).***